

Размышления о живой памяти

В. П. Зинченко,
академик, доктор психологических наук

*Светлой памяти
Татьяны Петровны Зинченко посвящается.*

Силы человеческой души, называемые в просторечии психическими актами, способностями, процессами, функциями, действиями и деятельностью, выступали и выступают предметом изображения в мифологии и искусстве, предметом размышления в теологии и философии, предметом изучения в психологии и других науках о человеке. Искусство и философия отдельно или совместными усилиями порождают и задают науке (разумеется, непроизвольно) смысловой, внутренне напряженный образ, который рано или поздно выступает для науки в качестве исходного, поискового при построении возможного предмета научного исследования. Так, например, античностью были заданы образы апейрона (атома), души, разума, памяти, человеческих страстей, героических поступков (воли), мужества, и многого другого.

Разделение итогов (продуктов) изображения, размышления и исследования, разумеется, весьма условно, и границы их размыты! Иногда мифология содержит нечто большее, чем образ. Афродите можно считать первым психологом-экспериментатором. Она, для того чтобы разлучить Психею с Эротом, заставляла ее проходить через разные испытания. Психея, пройдя их, стала не только богиней, но и символом бессмертной души, ищущей свой идеал. Бывает так, что искусство намного опережает не только науку, но и философию в познании живого. И все же нередко создается впечатление, что искусство, философия и наука имеют дело с совершенно различными предметами.

Необходимы более пристальное внимание и специальная, далеко не простая работа, чтобы обнаружить сходство в представлениях (например, о памяти), порожденных художником, философом и ученым. Причина этого очевидна. Сходство, если оно действительно есть, не наглядно, его нужно устанавливать. В самом деле, искусство представляет память как живой целостный образ, живую метафору, например Лета, персону, например Мнемозина; философия — как идею, ценность и смысл, выраженные в *слове*; а наука — как механизм, модель и проект их реализации, т. е. как *действие*. Иными словами, один и тот же предмет (текст) описывается с помощью разных языков, которые не так-то легко переводятся один на другой. А иногда перевод или хотя бы узнавание образа в слове, слова в действии вообще невозможны. Так, наука может забыть исходный смысловой образ, построить или подставить свой, например вместо образа души — образ поведения или деятельности, а то и мозга (?!), и искать соответствующую им онтологию. Когда наука заходит в тупик, она вновь вынуждена обращаться к исходному смысловому образу. На этом примере, между прочим, хорошо видно, что понятия интериоризации (извне внутрь) и экстериоризации (изнутри вовне) не более чем удачные (и удобные!) метафоры, описывающие лишь внешнюю сторону сложнейшей работы взаимного превращения живых форм, какими являются

слово, образ и действие. Интериоризация в такой же мере вращивание (Л. С. Выготский), как и выращивание или взращивание живых взаимодействующих форм.

Сходство (не говоря о переводе) между образом, словом и действием не дано, а задано. Его нужно искать не в их внешних, а во внутренних формах. Специальный анализ, основанный на идеях В. Гумбольдта и Г. Г. Шпета о внешней и внутренней формах слова, позволил предположить, что не только слово гетерогенно. Гетерогенны образ и действие. Мало этого, слово, образ и действие буквально опутаны паутиной генетических и смысловых связей друг с другом. В итоге оказывается, что образ, рассматриваемый как внешняя форма, содержит в своей внутренней форме слово и действие; соответственно, слово, рассматриваемое как внешняя форма, содержит в своей внутренней форме образ и действие; наконец, действие, рассматриваемое как внешняя форма, содержит в своей внутренней форме слово и образ [10]. Сказанное можно выразить иначе. Слово, рассматриваемое как текст, имеет не только свой подтекст, но и, как говорят лингвисты, затекст. Это же справедливо для образа и действия. Известно, что и подтекст не всегда легко обнаруживается. А прочтение затекста требует неизмеримо больших усилий; например, то же слово нужно «расковать», добраться до его ядра, до предметного остова.

Не хотелось бы, чтобы читатель интерпретировал внешнюю и внутреннюю формы, пользуясь психоаналитическим клише: сознательное — бессознательное. Они обе могут быть предметом осознания, обе могут и не осознаваться. Это понимал З. Фрейд, сказавший С. Дали, что у классиков он ищет подсознание, а у сюрреалистов — сознание. В обоих случаях отправной точкой для поиска является произведение, т. е. внешняя форма, родившаяся внутри. Обратимость внешних и внутренних форм — это особая проблема, которую мы оставляем вне рассмотрения. Ограничимся лишь поэтической иллюстрацией:

*Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись...*

О. Мандельштам

Насыщенность внешней формы внутренними формами представляет собой идеальный случай. На практике (и в жизни, и в науке) мы часто имеем дело с полым словом, тощим образом, механическим (мертвым) действием. Полнота развитости внутренних форм слова, действия и образа определяет не только степень их полноценности, целесообразности, но и степень живости. После работ Г. Г. Шпета, посвященных живому слову-понятию, работ Н. А. Бернштейна, посвященных живому движению, работ А. В. Запорожца, посвященных живому образу, эти словосочетания означают много больше, чем простые метафоры. Для перечисленных ученых и их последователей слово, действие и образ выступали в качестве предмета и цели соответствующих исследований. Но, как указывалось выше, слово, действие образ, добавим: и чувство являются языками, посредством которых только и могут быть описаны психические феномены или психические акты. Они ни в каком случае не могут быть даже даны нам вне этих языков. Без них не просто безмолвие индивидуального опыта, а невозможность его приобретения и фиксации. Наглядным примером может быть то, что для слова, выступающего в качестве предмета исследования, эффективно используются язык образов и язык действий, да и само слово рассматривается как действие (переформатив, глагол). В свою очередь, действие рассматривается как образ, как слово, как текст. Вне языка слов и действий не может быть сколько-нибудь полно понят и описан образ. Вместе с тем описание психических актов только на каком-либо одном из языков недостаточно, часто ущербно.

Сказанное относится и к памяти, полнота, живость понимания и описания которой могут быть достигнуты совместными усилиями искусства, философии и науки. Нельзя сказать, что поставленная задача беспрецедентна. С замечательными образцами живой памяти мы

встречаемся в искусстве, в философии (некоторые из них будут приведены ниже) и в науке. Непревзойденной является «Маленькая книжка о большой памяти» А. Р. Лурии, которой зачитывается не одно поколение психологов. Подобные, пусть менее совершенные попытки должны быть продолжены. На первых порах полезны даже синкретические объединения (Л. С. Выготский сказал бы — комплексы) различных представлений о памяти, добытых в искусстве, философии и науке. Можно надеяться, что подобная работа поможет согласовать не слишком гармоничные представления о памяти, как о силе души, способности к следообразованию, энграмме, действию и т. п., и понять ее как живой функциональный орган (организм) индивида, а затем, возможно, и социума.

* * *

Автор является приверженцем культурно-исторической психологии, развивавшейся в нашей стране Л. С. Выготским (1896-1934) и его последователями. Обращаясь к истокам этой концепции, можно с уверенностью сказать, что именно изучение памяти наиболее отчетливо продемонстрировало ее преимущества по сравнению с классическими исследованиями, начавшимися на заре экспериментальной психологии. В реальной жизни процессы памяти не выступают в чистом виде. В запоминании, воспроизведении, забывании участвуют перцептивные, аттенционные, интеллектуальные функции и аффективные состояния. Возможно, надоевший многим «узелок, завязанный на память», на который постоянно ссылались Л. С. Выготский и А. Н. Леонтьев, положил начало экспериментальному изучению опосредствованного характера не только памяти, но и других психических актов: ощущения, восприятия, внимания, мышления, аффектов. Опосредствованность в самом общем смысле этого слова означает включенность психики в культурный контекст жизни и деятельности индивида. В более частичном смысле следует различать как минимум две формы опосредствованности. Применительно к памяти это означает, что она сама, ее содержание и приемы опосредствуют наши отношения с миром, все доступные нам виды поведения и деятельности. В этом случае память выступает в качестве средства. Во втором случае память, обогащение и насыщение которой является целью, испытывает на себе влияние самых разнообразных средств: от повторения до узелка, завязанного на память, мнемосхемы, карты, компьютера, шпартгалки и т. д., облегчающих запоминание и припоминание. Значит, мнемический акт, мнемическое действие может быть либо опосредствующим, либо опосредствованным. Самое интересное (и трудное для исследования) — то, что обе формы опосредствования вполне совместимы друг с другом во времени, т. е. мнемическое действие может быть и опосредствованным, и опосредствующим одновременно. Его изучение в относительно чистом виде возможно лишь в перспективе развития памяти. Это же справедливо и по отношению к другим психическим актам, силам, способностям, функциям, процессам, как бы мы их ни обозначали.

Было бы наивно думать, что идея опосредствования — это исключительное достояние научной школы Л. С. Выготского. Столь же наивно пытаться определить, какая из двух форм опосредствования является первичной, главной, ведущей в жизни памяти и ее носителя. Приведем давнюю историю об опосредствующих функциях памяти.

В «Федре» Сократ рассказывает: «Так вот, я слышал, что близ египетского города Навкрасиса родился один из древних тамошних богов, которому посвящена птица, называемая ибисом. А самому божеству имя было Тевт. Он первый изобрел счет, геометрию, астрономию, вдобавок игру в шашки и кости, а также и письмена. Царем над всем Египтом был тогда Тамус, правивший в великом городе верхней области, который греки называют египетскими Фивами, а его бога — Амоном. Придя к царю, Тевт показал свои искусства и сказал, что их надо передать остальным египтянам. Царь спросил, какую пользу приносит каждое из них. Тевт стал объяснять, а царь, смотря по тому, говорил ли Тевт, по его мнению, хорошо или нет, кое-что порицал, а кое-что хвалил. По поводу каждого искусства Тамус, как пе-

редают, много высказал Тевту хорошего и дурного, но это было бы слишком долго рассказывать. Когда же дошел черед до письмен, Тевт сказал: «Эта наука, царь, сделает египтян более мудрыми и памятьливыми, так как найдено средство для памяти и мудрости». Царь же сказал: «Искуснейший Тевт, один способен порождать предметы искусства, а другой — судить, какая в них доля вреда или выгоды для тех, кто будет ими пользоваться. Вот и сейчас ты, отец письмен, из любви к ним придал им прямо противоположное значение. В души научившихся им они вселят забывчивость, так как будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашел средство не для памяти, а для припоминания. Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое знать понаслышке, без обучения, и будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве невеждами, людьми трудными для общения; они станут мнимомудрыми вместо мудрых»».

Как мы видим, эта история вполне современна. За 2,5 тысячи лет люди (и психологи!) так и не решили, что лучше: богатая память или средства припоминания. Вначале медленно, а в последние десятилетия стремительно, в связи с неправдоподобно быстрым, развитием информационных технологий, чаша весов стала склоняться в пользу средств. К тому же средств внешних, а не внутренних, точнее, не собственных средств памяти, развитых индивидом. По нашим, естественно субъективным и пристрастным, впечатлениям память не самая сильная сторона души современного человека, а память психологов — и того меньше. Объяснить это можно тем, что память в сознании людей почти перестала быть ценностью, а соответственно, и целью. Она даже перестает быть собственно средством, так как ее функции все больше переключаются на внешние средства деятельности, что лишает человека одного из важнейших источников саморазвития, каким является живая человеческая память.

Всё реже вспоминают о том, что память может, а порой и должна выступать также в качестве цели. Русский философ Н. Ф. Федоров еще в конце XIX в. фиксировал: создаваемые человеком орудия труда освобождают его от многих функций, выполнявшихся ранее, что может вести к его деградации. Федоров рассматривал орудия как органы человека и заботился о полноорганности, т. е. о том, чтобы человек, наряду с созданием новых внешних орудий-органов деятельности, создавал и развивал свои собственные органы. Последние А. А. Ухтомский назвал функциональными. Он относил к числу функциональных органов новообразований образ мира, доминанту (внимание), психологическое воспоминание и многое другое. Н. А. Бернштейн отнес к числу функциональных органов живое движение и предметное действие. Поведение и деятельность индивида не являются механической суммой функциональных органов. Они не только взаимодействуют друг с другом, но и взаимопроникают друг в друга, взаимообогащают один другой. Отсюда возникают давние, казалось бы, синкретические метафоры: «умное делание», «разумный глаз», «визуальное мышление», «осмысленная память», «умные эмоции» и т. д. Условием и механизмом взаимопроникновения и взаимообогащения функциональных органов является опосредствование, которое издавна привлекало к себе внимание философов и ученых. М. Коул [20] и В. Б. Хозиев [32] предприняли плодотворную попытку реконструкции этого феномена в истории философии и культуры. Особенно впечатляет трактовка опосредствования Гегелем, полагавшим опосредствование душой диалектики. Пожалуй, наиболее существенным следует считать, что натуральные, т. е. не опосредствованные взаимно, изолированные или «чистые» психические функции (если таковые встречаются в жизни, а не в лаборатории) являются механическими и не имеют перспективы развития. Они, по словам Гегеля, остаются соединением, смесью, кучей. Нужно сказать, что это в полной мере относится и к взаимно не опосредствованным знаниям, также представляющим собой функциональный орган индивида. Об этом недвусмысленно пишет Гегель: «Механический способ представления, механическая память, привычка, механический образ действия означают, что в том, что дух воспринима-

ет или делает, недостает присущего ему проникновения и присутствия» [6, т. 3, с. 159]. Мертвым механизмом является процесс взаимодействия объектов, «которые непосредственно являли себя как самостоятельные, но именно поэтому на самом деле несамостоятельны и имеют свой центр вовне себя» [там же, с. 175].

Своеобразной реакцией на недостаточную объяснительную силу схем взаимодействия психических функций, предлагавшихся классической психологией, можно считать появление призывов к органическому мировоззрению, добавление к психическим функциям, состояниям, феноменам эпитета «живой»: «живой образ», «живое движение», «живое словопонятие», «живое знание», даже «живое чувство». В этот же ряд нужно поставить и «живую память».

В чем же состоит заслуга культурно-исторической психологии, если о включенности памяти в культурный контекст и ее средствах размышляли испокон веку? Прежде чем отвечать на этот вопрос, обратимся еще к одной столь же давней и все еще живой оппозиции, тесно связанной с той, о которой только что рассказано. Обозначим ее: память — сила души или механизм?

Экспериментальная психология памяти прошла большой путь, конца ему не видно. Она начиналась с того, чтобы представить эту замечательную силу человеческой души как «чистую мнему». Г. Эббингауз открыл целую эпоху экспериментальных хотя и упорных, но вполне бесплодных поисков «чистой мнемы». Нельзя сказать, что он исходил из «постулата непосредственности» запоминания. Он понимал, что память опосредствована самыми разными ассоциациями и смыслами. В таком виде она представляет собой целостный и непрозрачный смыслообраз, за которым скрываются акт, процесс, функция, т. е. некий механизм. Поэтому ему пришлось искать материал для запоминания, обладающий минимальной смысловой и ассоциативной ценностью. Таким материалом в его исследованиях стали бессмысленные слоги. В этом была своя логика, так как ученого интересовали механизмы чистой памяти. От одной формы опосредствования Эббингаузу все же не удалось избавиться. Это повторение, которое выступало в его экспериментах средством и количественной мерой процессов памяти. Хотя Эббингаузу не удалось найти «чистой мнемы», но его эксперименты можно считать началом изучения «сопротивления человеческого материала», началом изучения границ возможностей относительно изолированных психических способностей. По аналогичным схемам и с подобной установкой очищения от жизненного контекста и смысла начиналось изучение и других психических функций.

Возможность непсихологического подхода к психике была артикулирована еще в буддийской философии [27, с. 350]. При таком подходе память да и другие функции лишались психологического содержания. Вернее, оно оставалось, но только в смысле терминов, в которых описывается психика. Психологи-экспериментаторы как бы неявно (или явочно) исходили из того, что психика как материал, как объективно существующий предмет может описываться (исследоваться, созерцаться, наконец) и как непсихологическое. Позднее подобный подход к психике и поиску ее физиологических механизмов был воспроизведен И. П. Павловым и его школой. Так экспериментальная психология уже при своем зарождении начала расставаться с душой, с ее заданным в античности целостным смыслообразом, включающим познание, чувство, волю, указывающим на формообразующую роль души по отношению не только к телу, но и к жизни. Конечно, душу нельзя свести к ее атрибутам. В образе души, заданном Платоном, речь идет о соединенной силе окрыленной пары коней и возничего. Душа — это таинственный избыток познания, чувства, воли, без которого невозможно их полноценное развитие. И. Г. Фихте говорил, что человек строит органы и функции, душой и сознанием намеченные. Душа не только намечает к сознанию новые органы, но и координирует и интегрирует их работу. Именно решение последних задач является камнем преткновения для психологии, мечтающей собрать воедино уже детально изу-

ченные изолированные психические функции и ищущей для этого законы их взаимодействия. О некоторых попытках такого поиска будет рассказано ниже.

Весьма показательным началом интересной и содержательной книжечки А. Р. Лурии, посвященной основным направлениям психологии, написанной в 1928 г. «Под психологией обычно принято было понимать науку, изучающую наше сознание, душевные явления, наш внутренний мир. И, однако, современная научная психология ничего общего с этими проблемами не имеет. <...> То представление, которое еще теперь многие имеют о психологии, думая, что она изучает душевные явления и явления сознательной душевной жизни, целиком принадлежит эпохе в развитии психологической мысли, тесно связанной с идеалистическим миропониманием и теперь уже окончательно отошедшей в прошлое» [21, с. 3]. После рассмотрения основных течений психологии А. Р. Лурия выдвигает ее главную задачу — объективное и динамическое изучение человеческого поведения. Были и более радикальные варианты. Например, П. П. Блонский в 1921 г. предлагал заменить понятия «психика» и «сознание» понятием «классовый интерес», а Б. Г. Ананьев в 1927 г., назвав психологию алхимией, предложил заменить ее настоящей химией — рефлексологией. Л. С. Выготский в том же году с пафосом отстаивал имя Психология, поскольку на нем осела пыль веков.

Не следует забывать, что приведенные выше слова А. Р. Лурии были написаны во второй половине 20-х гг. В то время мало кто осмеливался развивать идеи А. А. Ухтомского, Г. И. Челпанова, П. А. Флоренского, С. Л. Франка об онтологии души. Пожалуй, последним, кто это себе позволял в советское время, был Г. Г. Шпет. Впрочем, перед глазами А. Р. Лурии и других советских психологов был пример западной психологии, которая не менее решительно отказалась от изучения душевной жизни. Это, кстати, превосходно показано А. Р. Лурией применительно к «эмпирической», экспериментальной, поведенческой психологии и к гештальтпсихологии в цитированной книжке. Справедливости ради нужно сказать, что представления о человеке как о машине, о механизме возникли в философии задолго до экспериментальной психологии.

Расплатой за это стало ощущение перманентного кризиса в психологии. Яркие страницы о кризисе написаны Л. С. Выготским. А. Р. Лурия по-своему ощущал кризис. В его автобиографии, написанной в конце жизни, отчетливо ощущается тоска если не о душе, то о целостности психологии. Он вслед за Максом Ферворном разделял ученых на классиков и романтиков. Последних не удовлетворяет расчленение живой реальности на элементарные компоненты, воплощение ее в абстрактных моделях. Они пытаются сохранить богатство конкретных событий как таковых, и их привлекает наука, сохраняющая это богатство [22, с. 167]. Сам Александр Романович счастливо сочетал в себе свойства классиков и романтиков.

Аналогичную тоску по целостности мы встречаем у патриарха современной психологии Джерома Брунера. В «Автобиографии» (1980) он не слишком оптимистически пишет: «Я не чувствую, чтобы мои работы совершили революцию или в моем собственном мышлении, или в состоянии наук о человеке в целом. В чем-то самом важном я чувствую себя неудачником. Я надеялся, что психология сохранит целостность и не превратится в набор несообщающихся поддисциплин. Но она превратилась. Я надеялся, что она найдет способ навести мосты между науками и искусствами. Но она не нашла» (с. 149). Нужно сказать, что подобная самооценка Дж. Брунера не вполне справедлива. Его работы, как и работы А. Р. Лурии, внесли существенный вклад в формирование целостных представлений о человеке, в изучение его живой психики и сознания.

Приведенные соображения о несовпадении души и психики не следует воспринимать как критику в адрес науки. Психология действительно выполнила поставленную перед собой задачу. Изучая психику (в ее новом понимании) непсихологическими методами, она стала объективной наукой. Сегодня методическая вооруженность и изощренность психологии вполне сопоставимы со многими разделами физиологии, биофизики, биомеханики, ге-

нетики и других наук, с которыми она тесно сотрудничает. Психология и психологи давно утратили комплекс неполноценности по поводу субъективности (субъективизма) своей науки. Исчезли упреки в ее адрес и по поводу старинного «душевного водолейства». Несмотря на сравнительно молодой возраст экспериментальной психологии, она накопила солидный багаж, ставший фундаментом для многих отраслей психологии и ее практических приложений. Как и в любой другой науке, в психологии есть множество конкурирующих теорий, научных направлений и школ. Усилиями многих замечательных ученых построена онтология психики, за что была заплачена немалая цена. Психологи распродметили, или, говоря точнее, «раздушевили», душу и в итоге получили и изучили психику. Другими словами, сейчас уже имеется «материя», которая подлежит опредмечиванию и одушевлению. Если бы не была сделана первая часть работы — работа анализа, нечего было бы одушевлять. Сейчас, на мой взгляд, появились основания для прорыва к онтологии души. На опыт, накопленный экспериментальной психологией, нужно суметь посмотреть другими глазами, например глазами А. А. Ухтомского или М. К. Мамардашвили, что чрезвычайно трудно.

* * *

Вернемся к экспериментальной классике. По мере изучения искусственно изолированных психических функций предпринимались многочисленные и вполне наивные попытки их комбинирования в целях выделения главной, ведущей функции, попытки, которые не привели к успеху. В частности, память выступала то в роли главной, то подчиненной, выполняющей служебные функции — функции образования следов, хранения, воспроизведения и т. п. Подобные перестановки памяти в разных вариантах композиции психических функций отражали философские споры о соотношении памяти и творчества, репродуктивных и продуктивных процессов, а говоря современным языком, консервативных и динамических сил памяти. Не только интуитивно ясно, но и наглядно видно, что есть разница между «эрудитами» и «решателями проблем». Известно также, что среди первых встречаются такие, кто все знает и ничего не понимает, а среди вторых — невежды, изобретатели вечного двигателя. Если исключить крайности, то речь должна идти о доминантах репродуктивных и продуктивных способностей. Остановимся подробнее на давних спорах относительно репродукции и творчества.

Философ-романтик Ф. Т. Михайлов, восстанавливающий старую добрую традицию обсуждения психологической проблематики в терминах сил души, не включил память в их число, что само по себе показательно, поскольку это отражает дух времени (а может быть, его отсутствие?). Он перечислил в качестве сил души, участвующих в становлении Бытия, интуицию, воображение, интеллект, высшие эмоции и аффекты, нравственное чувство и волю. Подобное пренебрежение памятью тем более удивительно, что его интересная статья «Фантазия — главная сила души» посвящена памяти замечательного человека и философа Э. В. Ильенкова [24]. В разные исторические эпохи философы по-разному выстраивают иерархию душевных сил и по-разному оценивают их место и роль в человеческой жизни. В этом помог разобраться А. Г. Новохатько (также посвятивший свою статью памяти Э. В. Ильенкова), интересно размышляющий об историзме самосознания в контексте проблемы творчества. Кратко воспроизведем и реконструируем его логику.

В истории культуры имеются крайние позиции: от полного разделения миров творчества и репродукции до их полного слияния. Сократ предполагает, что в наших душах имеется кусок воска — у разных людей он отличается по качеству — и что это «дар Памяти, матери всех муз». Согласно Платону, знание истины и души заключено в памяти, в припоминании некогда виденных всеми душами идей-образов, смутными копиями которых являются все земные вещи. Значит, было время, когда память занимала подобающее место среди сил души, более того, именно она считалась первой и главной среди них: «Ты, память Муз, всего причина», — напомнил об этом времени Вяч.И. Иванов. «Грек гомеровской эпохи, — писал

А. Ф. Лосев, — никогда не творит тут чего-нибудь нового, небывалого. Вся его фантазия направлена лишь к тому, чтобы по возможности точно воспроизвести уже имеющееся, уже бывшее, вечное или временное... Фантазия у греков имела цель не создать новое, а только воспроизвести старое, — вот о чем говорят рассматриваемые нами гомеровские мифы о богах». К аналогичным выводам пришел М. Элиаде, который показал, почему такую колоссальную роль играла тренировка памяти, например, у сказителей, Эмпедокла, пифагорейцев. В древнегреческой культуре ясно просматриваются два вида памяти, недоступные Лете, забвению, что открывало возможность духовного бессмертия: «1) Лета бессильна перед теми, кто вдохновлен музами (так и перед теми, кто обладает пророческим даром, направленным в прошлое), что дает им возможность восстановить в памяти события, произошедшие у истоков мира (или восстановить структуру, образец порождения мира); 2) Лета вынуждена отступить и перед людьми типа Эмпедокла и Пифагора, кто способен так развить специальной техникой свою память, что можно заявить об их «всезнании» — они помнили абсолютно все свои предыдущие состояния...» [25, с. 152]. В качестве курьеза вспомним, что, согласно З. Фрейду, в Новое время Лета отступает только перед двумя вещами: не забывается время и место любовного свидания и военный приказ, а если забываются, то никогда не прощаются. Оставим на суд читателя решение, не отступила ли сегодня Лета и перед этим...

Память, о которой писали А. Ф. Лосев и М. Элиаде, конечно, не только достояние греков гомеровской эпохи.

Русский писатель Алексей Ремизов, анализирувавший творчество Н. В. Гоголя, писал: «Источник выдумки, как и всякого мифотворчества, исходит не из житейской ограниченной памяти, а из большой памяти человеческого духа, а выявление этой памяти — сны или вообще небодрственные состояния, одержимость» [28, с. 37]. Так или иначе, но память души, как и память духа, составляет тайну. Человек много не знает из того, что знает его душа, говорил Н. В. Гоголь, как не знает и того, на что способен его дух.

Августин, вслед за греками, также признавал Память одной из главнейших способностей души, наряду с Рассудком и Волей. Ему принадлежит одно из самых поэтических описаний работы памяти, которые имеются в истории культуры:

«Прихожу к равнинам и обширным дворцам памяти (*campos et lata praetoria memoria*), где находятся сокровищницы (*thesauri*), куда свезены бесчисленные образы всего, что было воспринято. Там же сложены и все наши мысли, преувеличившие, преуменьшившие и вообще как-то изменившие то, о чем сообщили наши внешние чувства. Туда передано и там спрятано все, что забвением еще не поглощено и не погребено. Находясь там, я требую показать мне то, что я хочу; одно появляется тотчас же, другое приходится искать дольше, словно откапывая из каких-то тайников; что-то вырывается целой толпой, и вместо того, что ты ищешь и просишь, выскакивает вперед, словно говоря: «Может, это нас?» Я мысленно гоню их прочь, и наконец то, что мне нужно, проясняется и выходит из своих скрытых убежищ. Кое-что возникает легко и проходит в стройном порядке, который и требовался: идущее впереди уступает место следующему сзади и, уступив, скрывается, чтобы выступить вновь, когда я того пожелаю. Именно так и происходит, когда я рассказываю о чем-либо по памяти» [1, с. 243].

Это было написано в IV в. К XX в. о дворцах памяти забыли, и А. Ремизов заговорил о «пропастных пространствах памяти». В. Хлебников воскликнул: «О, погреб памяти», а А. Ахматова взяла это восклицание эпиграфом к стихотворению «Подвал памяти», в котором, впрочем, «Сверкнули два живые изумруда. И кот мякнул...». Существуют и более мрачные метафоры, о некоторых будет написано ниже.

И все же кажется, что в обозримых масштабах человеческой истории, равно как и в истории образования, ценность памяти постепенно уменьшается, уступая место мышлению, пониманию, аффекту. Так ли это на самом деле? Если судить по изменению удельного веса

исследований памяти по сравнению с исследованиями мышления и эмоций в экспериментальной психологии, то такое заключение окажется справедливым. Но при этом нельзя упускать из виду замечательного теоретического положения Л. С. Выготского об интеллектуализации высших психических функций, в их числе, разумеется, и памяти. Так что же происходит? Не означает ли это, что интеллект поглощает память, а вместе с ней и другие психические процессы? Известно, что психологические воззрения Л. С. Выготского складывались под сильным влиянием Б. Спинозы. Обратимся к первоисточнику. Спиноза рассматривает память в контексте проблематики, вскрывающей природу «интеллекта». При этом память непосредственно увязывается с воображением («имагинацией»). «Если человеческое тело подвергалось однажды действию одновременно со стороны двух или нескольких тел, то душа, воображая впоследствии одно из них, тотчас будет вспоминать и о других»¹.

Формируя воображение, человек одновременно формирует и развивает свою память. Вместе с тем память по отношению к воображению всегда предположена. Вот и весь секрет: «Отсюда ясно, что такое память. Она есть не что иное, как некоторое сцепление идей, заключающих в себе природу вещей, находящихся вне человеческого тела, происходящее в душе сообразно с порядком и сцеплением состояний человеческого тела». Только тут есть одна любопытная тонкость, которую отмечает А. Г. Новохатько: «Память есть некоторое «сцепление идей». Но идеи, согласно Спинозе, суть только такие состояния человеческого тела, которые заключают в себе природу как этого тела, так и тела внешнего. Идеи — это целостности, которые содержат в себе единство противоположностей. Память тем самым всегда обречена зацеплять оба вышеуказанных момента именно в силу того, что она родом из идеи. Иными словами, память имеет интеллектуальное происхождение. Однако это вовсе не означает, что память сама по себе способна вывести человеческую душу на постижение вещей в их «первых причинах» — даже если предположить, что ей обеспечена со стороны человеческого тела возможность бесконечно сцеплять идеи внешних по отношению к нему тел» [25, с. 148-149].

Значит, у Спинозы память прежде, главное воображения, но позже интеллекта, родом из него. С этой точки зрения «чистая мнема» невозможна, в памяти изначально присутствуют следы интеллекта. Иногда, правда, едва заметные. Знание истины не припоминается, а добывается с помощью интеллекта. Взгляд удивительно интересный и поучительный, в том числе и в свете наивных, хотя уже достаточно давних, усилий создать на основе памяти «искусственный интеллект». Философы и психологи, кажется, всегда знали, что путь к интеллекту пролагает действие. У Фихте, у Гёте «вначале было дело». Из действия выводил интеллект А. Бергсон. А. Валлон дал афористическое название своей книге: «От действия к мысли». К этим идеям пришли А. В. Запорожец, М. Вертгеймер, Ж. Пиаже и многие другие. А что же память? Мудрый Ч. Шеррингтон нашел ей место на завершающих участках все того же действия, порождающего в конце концов умственные способности. А художники продолжают настаивать на памяти. А. Ремизов, анализируя рассказ Ф. М. Достоевского «Скверный анекдот», говорит, что он был написан после каторги среди мелькнувших ожесточенных мыслей каторжной памяти. Если принять во внимание, что человеческая, а не машинная память есть не только результат действия, но и сама есть действие, то между взглядами ученых и художников нет противоречия.

Вновь обратимся к Спинозе: «Память (как и воображение, «имагинация») — своего рода предчувствие интеллекта, симптом возможности его обнаружения, можно, наконец, сказать, что память есть ищущий себя интеллект, или интеллект, нуждающийся в «очищении», но ни в коем случае не есть самый этот интеллект как таковой. Мера развития интеллекта определяет меру развития памяти (да и других способностей души), а не наоборот. Мысля,

¹ Спиноза Б. Избранные произведения. М., 1957. Т. 1. С. 423.

человек вспоминает сообразно тому, как, каким способом он на деле привык «сцеплять» и соединять между собой различные образы вещей.

Вот почему душа от мышления одной вещи тотчас переходит к мышлению другой, не имеющей с первой никакого сходства. Всякий переход от одной мысли к другой происходит, - настаивает Спиноза, — смотря по тому, как привычка расположила в его теле образы вещей. Солдат, например, при виде следов коня на песке тотчас переходит от мысли о коне к мысли о всаднике, а отсюда — к мысли о войне и т. д. Крестьянин же от мысли о коне переходит к мысли о плуге или поле» [25, с. 148-149]. Значит, для рождения интеллекта одной памяти мало. Необходимо еще и предвидение, которое Шеррингтон тоже локализовал в действии. Лишь в свете родившегося интеллекта память становится памятью.

Идея, что память есть предчувствие» интеллекта, ищущий себя интеллект, удивительно интересна и продуктивна. Мы с благодарностью должны вспомнить использованный Платоном образ охоты: чувственность охотится за идеями, чтобы стать чем-то определенным, а идея охотится за чувственностью, чтобы реально осуществиться («Менон»). Поиск, охота — это великолепный смыслообраз или праобраз главной функции психики (ср. выше: Психея, ищущая свой идеал), который психология использовала лишь частично (психика — это ориентировочно-исследовательское поведение и ориентировочно-исследовательская деятельность). В образах Платона и Спинозы имеются основания для обсуждения проблематики взаимодействия психических функций. Например, можно предположить, что сенсорная чувствительность включает в свой состав «первичные устремления» к предмету, своего рода предчувствие предмета. Она есть ищущий себя (себе!) предмет. Когда таковой находится, разлитая, диффузная чувствительность превращается в «предметный рецептор» (термин Ч. Шеррингтона). Затем построенный посредством исполнительных и перцептивных действий «предметный остов» становится важнейшей составной частью внутренней формы слова. По этой же логике живое движение вкупе с чувствительностью можно рассматривать как предчувствие Я, ищущего свое действие, или шире — поиск себя, поиск собственной субъектности.

Если выразить идеи Спинозы о взаимодействии памяти и мышления на близком нам психологическом языке, то именно он сформулировал гипотезу об интеллектуализации психических функций. Сформулировал то, что потом не без влияния Спинозы доказывал Л. С. Выготский: «Вся система отношений функций друг с другом определяется в основном господствующей на данной ступени развития формой мышления» [4, т. 2, с. 415]. Именно вследствие перехода от наглядного мышления к абстрактному (в понятиях) происходят существенные изменения в памяти: возникает логическая память [там же, с. 130-132]. Для ее возникновения уже к начальной школе имеются достаточные предпосылки: «Дети, поступающие в школу, уже владеют относительно развитыми формами мышления, понимания... Однако процессы мышления, понимания носят у них преимущественно произвольный, еще достаточно неуправляемый характер» [17, с. 498; 1996, с. 488-489]. Тем не менее эти процессы с самого начала школьного обучения содействуют организации учебного материала.

Согласно Л. С. Выготскому, интеллектуализируются и другие силы души, вплоть до появления умных эмоций. И этот процесс в онтогенезе начинается очень рано. Интеллектуализируется и восприятие: чтобы увидеть нечто, мы вносим порядок, а потом видим это. Так что Г. Эббингаузу для изучения свойств «чистой мнемы», если таковая вообще имеется, нужно было деинтеллектуализировать память, что он и пытался сделать, давая испытуемым для запоминания бессмысленные слоги. Но вполне достичь этого ему не удалось, а обратить течение времени вспять было не в его власти.

Положение о взаимодействии психических функций должно быть дополнено положением об их взаимном опосредствовании. Поэтому выделение некоторой чистой функции всегда есть результат чрезвычайно искусственной процедуры, полный успех которой не может

быть гарантирован. Каждый когнитивный акт или предметное, исполнительное действие принципиально представляют собой нечто вроде суперпозиции многих психических функций. По содержанию они синкретичны или синпраксичны, а по способу выполнения – синергетичны. Например, биодинамическая ткань живого движения одновременно является его чувственной тканью. Живое движение подобно ленте Мёбиуса. Оба вида ткани составляют основу перцептивной и моторной памяти и участвуют в создании (и хранении) образа действия.

Дискуссия о продуктивных и репродуктивных силах человеческой души продолжалась в немецкой философии. А. Г. Новохатько резюмирует ее следующим образом: «Итак, именно Кант (сознательно опираясь на юмовские предпосылки) расщепил деятельность человека на продуктивную и репродуктивную. До него в новоевропейской метафизике не только разрыв, но даже различие между продуктивным и репродуктивным действиями еще не имело онтологического статуса. Так, например, Спиноза не придает фундаментального значения этому разрыву. Можно показать, что Мальбранш и Лейбниц занимают в данном отношении позицию, весьма близкую к Спинозе. Наконец, Декарт, и это следовало бы продемонстрировать особо, предельно субъективизированный в XX веке в силу господства философских течений креационистского толка, а потому нуждающийся в более объемной историко-философской реконструкции, также едва ли может выступать здесь как предтеча Канта» [25, с. 129]. В психологии креационизм толкуется как креативность, и число охотников объяснить людям, что такое творчество, и научить их ему не убывает. Но, как известно, никто из них еще не сделал даже попытки показать это на своем собственном примере. Описания процессов творчества, выполненные *post-factum*, значительно содержательнее и интереснее.

Ядром продуктивной деятельности у Канта является способность продуктивного воображения, т. е. творческая фантазия, которую и сегодня Ф. Т. Михайлов считает главной силой души. И даже гегельянец Э. В. Ильенков в этом вопросе склонялся на сторону Канта. Но у памяти оказался серьезный защитник. «Совершенно иной ход был предложен Гегелем, подчинившим учение о воображении — *Логике*, но уже не просто чуткой к теории познания, а способной непосредственно собою выражать диалектику познания. <...> Гегель, анализируя в своей философии духа основания того процесса, который сегодня принято называть «психологией творчества», не только, казалось бы, неожиданно порывает с очерчивающей природу творчества кантовско-фихтевской терминологией («схематизм», «фигурный синтез» и т. п.), но и открыто отдает предпочтение памяти перед воображением, или по выражению Э. В. Ильенкова, давит на память» [там же, с. 128]. Гегель связывает тайну творчества (развития!) с движением-становлением, т. е. с неизбежным выходом в историю развивающегося предмета.

Новохатько приводит точную фиксацию М. К. Петровым, чем по форме отличается гегелевское понимание природы творчества от кантовского: «Вот здесь и начинается самое серьезное — совмещение антиномий Канта, отказ от разделения миров творчества и репродукции, слияние их в единую репродуктивно-творческую «самость» — автономный, довлеющий себе, самораскручивающийся субъект самовоспроизводства (репродукция), самообновления (творчество), обнаруживающий в самом себе все основания и критерии для гомеостаза... и для законосообразного изменения, преемственного развития...» [там же, с. 129-130]. Далее мы увидим, что в когнитивной психологии накапливаются экспериментальные доказательства этой вполне разумной позиции.

Еще раз обратим внимание на то, что два психологически ориентированных философа в статьях, опубликованных под одной обложкой, по-разному оценивают силы души, в их числе роль и место памяти в продуктивной, творческой деятельности. И дело не в том, кто из них или из рассмотренных ими философов больше прав. Наша задача не оценки им ставить, а думать самим. Вдумаемся еще раз. Для Канта и Фихте воображение — это способность

связывать общие законы, выработанные всей общечеловеческой культурой, с неповторимыми фактами, причем никакими логическими правилами эту связь установить нельзя. Тот же А. Ремизов, превозносивший память духа и писавший, что душа знает больше, чем сознание, подчеркивал роль внимания к настоящему и его встречу с памятью о прошлом. При этом «мысли идут по зацепкам наперекор логической целесообразности, сцепление образов и суждений неожиданно» [28, с. 51]. Значит, и Мнемозина, память как удержание внутренней сути вещей, как победа над страшной их властью, — тоже кое-что, как и сократовский анамнесис, «припоминание», приравненное к творчеству.

Образование, казалось бы, начинается именно с приобретения знания общих законов и принципов, т. е. с памяти. Гегель вполне резонно писал, что в педагогических успехах мы узнаем набросанную как бы в сжатом очерке историю образованности всего мира. Здесь ключевое слово «сжатость». У Гегеля имеется и другой образ, полезный для понимания содержания образования и не только его: «Содержание есть обузданная непосредственность, оформленная в свою аббревиатуру и определенная в мысли» [5, т. IV, с. 16]. В. Б. Хозиев, комментируя эти строки, пишет, что обуздание, оформление, определение являются отдельными моментами метода (познания и действия), сливающимися в единый поток опосредствования [32, с. 17 — 18].

Если «образованность всего мира» не сжать, человеку для овладения ею не хватит целой жизни. Даже при «сжатости» нельзя сказать, что у человека имеется избыток времени. Выручают скорость и интенсивность развития:

*Но скорость внутреннего прогресса
Больше, чем скорость мира.*

И. Бродский

Но в этой сжатости заключены и трудности образования. Нужно научиться расшифровывать аббревиатуры, соотносить их с реальностью (это называется «предметностью») и создавать новые. Поэтому начало образовательного процесса, как, впрочем, и науки, — не запоминание, а анализ, т. е. снятие формы известности. Можно сказать, иллюзии известности знания, разложение первоначальных представлений на простые моменты. «Деятельность разложения есть сила и работа рассудка, изумительнейшей и величайшей или, лучше сказать, абсолютной мощи» [5, т. 4, с. 17]. Известное не вызывает изумления, вслед за Аристотелем говорит Гегель. Источником самодвижения мысли является живое конкретное, которое должно быть получено после разложения исходного целого на простые элементы. А живое конкретное — это развитая сущность предмета. Тем самым Гегель выявляет основание творчества — воспроизведение, репродукция конкретного в мышлении, установление новых связей. Вот и место памяти в мышлении, а соответственно, и в обучении. Но это же и место для действия, ибо анализ, воспроизведение, установление новых связей суть действия.

Вернемся к «абсолютной мощи рассудка». Как хорошо известно, достижение абсолютно — задача чрезвычайно трудная, если вообще разрешимая. Гегель предупреждает об этом: «Абстрагирование получает... тот смысл, что из конкретного лишь для нашего субъективного употребления изымается тот или иной признак так, чтобы с опущением столь многих других качеств и свойств предмета он не утрачивал ничего в своей ценности и в своем достоинстве... и лишь немоть рассудка приводит, согласно этому взгляду, к тому, что ему невозможно вобрать в себя все это богатство и довольствоваться скудной абстракцией» [цит. по: 8, с. 125]. Что же верно: абсолютная мощь или немоть рассудка? Можно такой вопрос поставить и относительно разума, который ведь тоже может оказаться беспомощным. Но это еще не основание, чтобы принижать тот или другой в принципе. И в том, и в другом память играет огромную роль.

Л. С. Выготский, развивая идеи интеллектуализации памяти и других психических функций, проявил разумную осторожность и не растворил память в интеллекте. Подобный упрек можно скорее адресовать педагогике и педагогической психологии. Это особенно имеет отношение к тем ее представителям, которые ориентированы прежде всего на развитие творческих способностей учащихся. Против последнего трудно было бы что-нибудь возразить, если бы авторы подобных проектов хотя бы отдаленно представляли себе, что такое творчество. Творчество «в лоб» не изучается и не формируется. К нему следует подходить не прямо, а косвенно, со стороны действия, восприятия, памяти, реконструкции усвоенного при воспроизведении, изучать различные пути порождения нового, каким бы элементарным оно ни было. С этой точки зрения интересны, например, эффекты интерференции в памяти, различные способы кодирования информации в системах кратковременной и долговременной памяти, наличие в памяти разных уровней преобразования информации, отличающихся не только своими языками (кодами), но и глубиной обработки информации. Естественно, что все эти обстоятельства определяются смыслом задач, которые решаются человеком. Другими словами, в нашей психической жизни или в психической организации память, при всей ее контекстуальности и опосредствованности (в двух смыслах этого слова), выступает как «государство в государстве». Растворяясь в психике, она остается сама собой и, более того, сама может ассимилировать другие психические функции, вбирать в себя многие их свойства. Память также эффективно использует средства, сложившиеся в ходе развития других психических функций, например восприятия и мышления. Мы, таким образом, вновь возвращаемся к идее опосредствования. П. И. Зинченко показал в свое время, как сложившиеся интеллектуальные операции становятся средствами непровольного, а потом и произвольного запоминания. Т. П. Зинченко исследовала, как складывающиеся когнитивные карты становятся средствами памяти и более широко — средствами трудовой и учебной деятельности. В этих случаях речь идет уже не о внешних средствах («узелок»), а о внутренних, собственных средствах индивида. Таким образом, память выступает подобно развивающемуся живому существу или относительно автономному организму.

Н. А. Бернштейн в 30-х гг. XX в. ввел в контекст биомеханики и физиологии активности понятие «живое движение» и уподобил его живому существу. Несколько ранее Г. Г. Шпет и С. Л. Франк писали о живом знании. Согласно А. Н. Леонтьеву, в живом знании соединяются две «образующие» сознания — значение и смысл, конституирующие его рефлексивный слой. В живом знании соединяются и две другие — биодинамическая и чувственная ткань, конституирующие бытийный слой знания и сознания. Равным образом имеются основания говорить о живой памяти. Исследования непровольной памяти П. И. Зинченко и А. А. Смирнова, выполненные в 30-е гг. XX в., можно считать началом ее экспериментального изучения. Значительно больше, по сравнению с наукой, знает о живой памяти искусство, не скованное суровой необходимостью добывать доказательства тому, что извлекается из глубин творческого духа его представителей в виде мифов, метафор, образов, прозрений, пророчеств, видений. Поверим в молодости оптимистичному О. Мандельштаму: «В видении обман немислим». Для такой веры имеются основания, так как слишком многое из провидческого в искусстве задним числом подтверждалось. Сказанное является своего рода оправданием приводимых ниже реминисценций из области искусства, которые для психологии памяти можно считать эвристиками или вызовом к изучению живой памяти, представленной в этих реминисценциях.

* * *

Ларош Фуко когда-то сказал, что все жалуются на свою память и никто не жалуется на свой ум. Опыт преподавания и оценки знаний учащихся подтверждает максимуму знаменитого афориста. Жалобы на память — это своего рода защитная реакция на возможные упреки в непонятливости, тупости, лени и т. п. На самом деле человеческая память представляет со-

бой весьма совершенный инструмент, удивительный функциональный орган нашей жизни. Именно так характеризовал психологическое воспоминание А. А. Ухтомский. Ему вторит В. В. Набоков, согласно которому память превращается «либо в необыкновенно развитый орган, работающий постоянно и своей секрецией возмещающий все исторические убытки, либо в раковую опухоль души, мешающую дышать, спать, общаться...». Это соответствует мыслям Вяч.И. Иванова о памяти, разрушающей и созидающей жизнь. Известно, что человек может быть целиком захвачен любимым делом, страстью, мыслью. Он может весь поместиться в больном зубе, как в тесном ботинке, может весь превратиться в слух, в зрение: «я весь внимание» В таких случаях не человек хозяин своих анатомических или функциональных органов, а последние становятся хозяевами человека. Он подчиняется им. То же происходит и с памятью, когда «тревожащие душу воспоминания — привидения требуют возвращения в жизнь и тем грозят ей разрушением» (Ф. Степун). В таких случаях не память — орган человека, а человек — орган памяти, он не только подчинен, но подавлен ею. Хорошо, если такие состояния побуждают человека к работе печали, к переживанию, к деятельностно-семиотической перешифровке и вытеснению гнетущих воспоминаний, к порождению новых жизненных смыслов, взамен утраченных, к пониманию того, что жизнь больше, чем смысл. По мере выполнения такой работы человек вновь овладевает памятью, становится ее хозяином. К подобным свойствам и функциям памяти да и других психических актов психология приближается очень неспешно, зато, будем надеяться, основательно [3].

Живая память обладает необозримым объемом, не имеющим ясных границ не только в объеме, но и в прочности сохранения, и поразительной готовностью. Например, поэт, по словам И. Бродского, в каждый момент времени обладает языком во всей его полноте. Не только поэт. И не только языком. Анализ поведения людей в критических, беспрецедентных ситуациях свидетельствует о том, что многие из них в каждый момент времени обладают огромным богатством возможных действий, в том числе и предварительно не заученных. Это же относится и к образам. Подобное сочетание невероятной избыточности памяти и ее практически мгновенной готовности представляет собой чудо, тайну и проблему для психологии.

Память хранит прошлое только потому, что она ориентирована на будущее. Напомним классический пример П. Жане: мы ведь берем билет не только туда, но и обратно. По словам В. В. Набокова, у нас «мелькают будущие воспоминания»; события «зачисляются в штат воспоминаний»; «воспоминания только тогда приходят в действие, когда мы уже возвращаемся в дом»; «память — это длинная вечерняя тень истины», поэтому нечто «впоследствии сделалось воспоминанием стыдным». Наконец, он пишет о силе памяти: «Ничто-ничто не пропадает, в памяти накапливаются сокровища, растут скрытые склады в темноте, в пыли, — и вот кто-то приезжий вдруг требует у библиотекаря книгу, не выдававшуюся двадцать лет».

Не менее удивительны, чем объем, сила, прочность и готовность памяти, ее избирательность и ее забывчивость, способность к забыванию сделанного и решенного, к вытеснению неприятного, к деятельностно-семиотической переработке накопленного, к преодолению излишнего и избыточного. Прислушаемся к М. А. Булгакову: «Удивительно устроена человеческая память. Ведь вот, кажется, и недавно все это было, а между тем восстановить события стройно и последовательно нет никакой возможности. Выпали звенья из цепи! Кое-что вспоминаешь, прямо так и загорится перед глазами, а прочее раскрошилось, рассыпалось, и только одна труха и какой-то дождик в памяти. Да, впрочем, труха и есть. Дождик? Дождик?» И далее конкретизация: «Так прошло много ночей, их я помню, но как-то все скопом, — было холодно спать. Дни же как будто вымыло из памяти — ничего не помню»; «но все же это теперь как-то смылось в моей памяти, не оставив ничего, кроме скуки, в ней все это я позабыл» («Театральный роман»). Видимо, физическое время, заполненное одиночеством, печалью, неприкаянностью, ощущением несуществования, неподвластно памяти. Булгаков тонко заметил, что это время в памяти Максудова не просто провал, пустота. Она

заполнена скукой, может быть, тоской. Физическое время — это время распада, разложения.

«Интеллектуализированная» память становится продуктивной, она живет в психологическом времени, мерой которого являются мысли и действия человека. Человеческая память событийна, а не хронографична. Это, конечно, не исключает «Живой хронологии», в том числе и в смысле одноименного рассказа А. П. Чехова, или автобиографической памяти. Событийная память произвольна, она не требует специальных мнемических усилий, хотя по своей силе она прочнее произвольной памяти. Парадоксальность взаимоотношений между произвольной и произвольной памятью можно проиллюстрировать точной заметкой А. А. Ахматовой о забывании. Она писала, что отсутствие — лучшее лекарство от забывания, лучший же способ забыть навек — это видеть ежедневно. Это не было шуткой. Ахматова обещала рассказать об этом подробнее, но, видимо, забыла о своем обещании. Создается впечатление, что наша память, как и живое движение, разумна сама по себе, а не потому, что ею руководит высший и внешний по отношению к ней интеллект. Не только разумна, но и пристрастна, аффективна. И это настолько верно, что в долгой истории ее изучения попытки обнаружить в памяти, так сказать, «чистую мнему» оказались безрезультатными. В этом свете подвергались вполне резонным сомнениям представления А. Бергсона, противопоставлявшего память материи и память духа, равно как и представления раннего Л. С. Выготского, противопоставлявшего натуральную память культурной.

Следует сказать, что чистая мнема все же была найдена. Это так называемый сенсорный регистр. Но время «чистого», ничем не замутненного хранения в нем оказалось меньше 0,1 с. Оно меньше времени одной зрительной фиксации и близко к времени инерции зрения. Если бы оно было большим, то мы были бы невосприимчивы к настоящему и видели лишь прошедшее. Наличие великих мнемонистов, подобных Шерешевскому, описанному А. Р. Лурией, лишь подтверждает сказанное. Мы, конечно, можем утешать себя тем, что в каждом из нас «сидит» великий мнемонист Ш. Память сенсорного регистра не ограничена по объему, но она сверхкороткая, и мы не подозреваем о ней. Памятливость нашего внутреннего Ш. не распространяется дальше, чем на 70 мс. И это, между прочим, благо. Ш. драматически описывал, сколь трудно пробиться новым впечатлениям сквозь чрезмерно инертные образы предшествующих событий. Уже кратковременная память, включая иконическую, не говоря о долговременной, разделяет свойства, присущие действию и деятельности, зависит от задач, целей, мотивов, предметного содержания, на которые направлены мнемические акты. Поэтому П. И. Зинченко имел все основания трактовать память как мнемическое действие, входящее в более широкие структуры деятельности, или как особую мнемическую деятельность. Примечательно, что он, начав свои исследования памяти с забывания и воспроизведения, показал, что не только воспроизведение, но и забывание есть действие. Каждому на собственном опыте известно, что осуществить такое действие порой труднее, чем запомнить.

Сочетание консервативных и динамических свойств в памяти остается загадочным. Однако это такая загадка, решение которой не предполагает исключения или вычитания какой-либо группы свойств. И те, и другие в равной степени обеспечивают то, что принято называть хорошей памятью. Хорошая — не значит буквальная, скорее — осмысленная. Именно сочетание консервативных и динамических свойств памяти делает ее живым функциональным органом, даже организмом, способным к внутреннему движению и самодвижению. В создании такого организма огромную роль играет произвольное запоминание, начинающееся с рождения, а по некоторым смелым предположениям и ранее того. Трудно сказать, какой удельный вес знаний о мире и о себе самом, имеющихся в памяти индивида, получен произвольно, а какой произвольно. Если верить Л. Н. Толстому, утверждавшему, что более 90 % наших знаний мы получили до 5 лет, то объем запомненного нами произвольно еще выше и приближается к 100 %. Это, впрочем, не должно служить основанием

для пренебрежения произвольным запоминанием. Не менее интересно (и важно!) то, что далеко не всем полученным произвольно знанием и опытом мы можем произвольно распоряжаться. Овладение собой, идущее через познание себя, — это экзистенциальная задача, которую человек решает всю жизнь, притом с негарантированным успехом. Ее решению мешает многое. Не последнюю роль играет лень властвовать собой.

Живость памяти обеспечивается (и объясняется!) еще и тем, что существующее в ней полимодальное описание (образ) мира всегда недосказано. Получение, добывание нового знания, как правило, сопровождается расширением незнания, что вызывает в памяти различного рода напряжения. Они являются источником любопытства, любознательности, фантазии, мифологического, научного творчества и других форм завершения опыта, его гештальтирования. Иное дело, что со временем любой гештальт (картина мира, закон) подвергается сомнению, уходит в тень, а потом нередко всплывает вновь. Это справедливо как для социальной, культурной памяти, так и для индивидуальной. В этом пункте уместно обратиться к традиционной проблематике памяти и обучения.

* * *

Психолого-педагогический пафос исследований П. И. Зинченко был направлен против механического запоминания. От него мы с Т. П. Зинченко впервые услышали полный вариант средневековой заповеди учителя: «Повторение — мать учения и прибежище ослов». Произвольное осмысленное, опирающееся на понимание и умственные действия запоминание более продуктивно, чем произвольное, не использующее в должной мере интеллектуальные средства. Трудности узнавания ведут к более тщательному ознакомлению; трудности воспроизведения — к лучшему пониманию, требующему разнообразных способов обработки материала.

Не так давно ушло время (а может быть, еще и не ушло), когда память была главным, если не единственным средством обучения. Утешает то, что от этого, во всяком случае в теории, отказались педагогика и дидактика, хотя практика живет по своим законам. Нагрузка на память в средней и высшей школе все еще достаточно велика. Да и самые, так сказать, передовые теории обучения, в том числе и теория развивающего обучения, формулируют свои задачи в терминах усвоения (присвоения). Прислушаемся к одному из создателей последней — В. В. Давыдову: ««Источником» психического развития, согласно Д. Б. Эльконину, являются заданные (или «конечные») идеальные формы, к которым оно приходит в результате их усвоения. Иными словами, источники развития заданы в качестве объективных общественных образцов, которые, взаимодействуя с процессом развития, детерминируют его как бы «сверху», т. е. со стороны высших и конечных форм. Это взаимодействие как раз и является усвоением (присвоением) идеального как существенного аспекта исторически складывающейся культуры. Усвоение (присвоение) — это всеобщая форма психического развития ребенка. В этом и состоит подлинный смысл культурно-исторического обоснования практики развивающего обучения» [9, с. 26].

Вначале отметим, что смущает в этой характеристике. Странно звучит словосочетание «высшая и конечная идеальная форма». Конечность формы противоречит самой идее развития. Конечная форма — это мертвая форма, а живая наука имеет дело с живыми формами и бесконечно погружается в их анализ. Ей должно уподобляться образование, тем более развивающее, которому не стоит стремиться к достижению конечной «нормы развития», а следует рассматривать развитие как норму.

Согласимся, что главной целью развивающего обучения является усвоение. Если отвлечься от специфичности содержания, предлагаемого для усвоения, то в этом теория (или система) развивающего обучения ничем не отличается от всех остальных, и в ней должно было бы найтись место для памяти. Но не нашлось! Важной составной частью развивающего обучения является формирование у учащихся теоретического мышления, которое проти-

вопоставляется мышлению рассудочному или рассудочно-эмпирическому. Неявно, а иногда и вполне явно предполагается, что теоретическое мышление эквивалентно мышлению творческому. Однако теоретическое мышление опирается на анализ. В этой, по крайней мере своей первой, фазе оно не отличается от рассудочного. Главная же черта теоретического мышления состоит в том, что оно, в соответствии с мыслью Гегеля, направлено на воспроизведение конкретного, воспроизведение развитой сущности предмета, на выведение единичного из всеобщего. Равным образом В. В. Давыдов, характеризуя понятия, говорит о том, что с их помощью воспроизводится идеализованный объект и система его связей, а также о том, что понятие должно рассматриваться как мыслительное действие.

Чтобы нечто воспроизвести, нужно не только знать это нечто, но и знать, как это сделать. Нужно знать «материальные объекты» и «идеализованные объекты». А знать, между прочим, означает не только понимать, но и помнить. Если объект проанализирован, то нужно запомнить результат анализа и его способы. Нужно помнить и систему связей анализируемого ли, воспроизводимого ли объекта. Если речь идет о том, что понятие — это мыслительное действие, то нужно знать набор и последовательность операций, входящих в него, чтобы успешно осуществить это действие. Кроме того, образование не может ограничиться лишь формированием умственных действий и приемов решения тех или иных задач. О. Мандельштам, комментируя «Божественную комедию», пишет: «Образованность — школа быстрейших ассоциаций. Ты схватываешь на лету, ты чувствителен к намекам — вот любимая похвала Данте. В дантовском понимании учитель моложе ученика, потому что бегаёт быстрее» [23, с. 217].

Одним словом, в развивающем обучении, как, впрочем, в любом другом, имеется место для работы памяти. Но это место авторы теорий утаивают, чем, кстати, снижают их потенциал. Причины этого могут быть разные. Все теории обучения так или иначе противопоставляют себя некоему фантому, т. е. скорее всего выдуманной «теории» обучения, опирающейся исключительно на механическое заучивание или зубрежку. Если такое и было, то очень давно. Нельзя ведь сказать, что сократовский метод обучения был изобретен недавно. Вторая причина более серьезна. Авторы теорий обучения просто не знают того, что происходило в психологии памяти после создания Гартли и Пристли учения об ассоциациях, после экспериментов Германа Эббингауза. А происходило много замечательного. Ограничимся лишь несколькими указательными жестами. П. Жане показал, что память ориентирована на будущее. Афористичен Л. С. Выготский: «Намерение всегда опирается на память» [4, т.3, с. 288]. Нужно помнить и о мотиве и не сдвигать его на цель (А. Н. Леонтьев).

Ф. Бартлет, изучая реконструкции при воспроизведении запомненного, показал, что подобные реконструкции вполне могут быть продуктивными. Он как бы подтвердил тезис Гегеля, что память именно своей репродуктивностью выполняет продуктивную базисную роль в развитии психики [25, с. 151]. И еще один замечательный тезис Гегеля: «Превращение дела памяти в дело воображения есть деградация» [5, т. 11, с. 182]. Это как будто специально сказано для тех, кто злоупотребляет виртуальной реальностью.

А. Н. Леонтьев в 30-е гг. экспериментально изучал генезис произвольного опосредованного запоминания. По сути дела, он начал экспериментальное исследование процесса интеллектуализации человеческой памяти, которое продолжили П. И. Зинченко, А. А. Смирнов, Т. П. Зинченко и др. Они нашли впечатляющие взаимоотношения и взаимодействия между мышлением и памятью, опираясь в том числе и на теоретическое исследование этой проблемы П. П. Блонским. В исследованиях произвольной памяти было показано, что она вовсе не случайная память (*insidental memory*), какой она рассматривалась в бихевиоризме, а тесно связана с деятельностью. И связана по-разному с ее разными структурными компонентами (мотивы, цели, средства, способы достижения, результат). Много сделано на достаточно абстрактном материале (хотя и не на бессмысленных слогах), но многое — и на материале учебной деятельности школьников. Показано, что при разных

учебных задачах следует ориентироваться либо на произвольную, либо на непроизвольную память. Между этими двумя видами памяти существует сложная динамика взаимоотношений, определяющая в том числе и различия в их продуктивности. Все это оказалось возможным, потому что память стала рассматриваться как мнемическое — в широком смысле — психическое действие (П. И. Зинченко, 1939).

В книгах П. И. Зинченко [17] и А. А. Смирнова [30] имеются специальные разделы, посвященные памяти и обучению, памяти и пониманию, но все это богатство осталось вне рамок теорий обучения, будь то теория Н. А. Менчинской, теория П. Я. Гальперина или теория Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова. Пожалуй, о памяти в контексте развивающего обучения вспоминает лишь В. В. Репкин, многие годы работавший в Харькове вместе с П. И. Зинченко. Книга Т. П. Зинченко [19], в которой воспроизводятся важнейшие вехи истории исследований памяти, представляет собой своевременное напоминание о роли памяти в различных видах человеческой деятельности. Такое напоминание очень нужно педагогике и педагогической психологии. Приведем основные положения концепции памяти П. И. Зинченко, удачно резюмированные Б. Г. Мещеряковым во «Вступительной статье» ко второму изданию книги «Непроизвольное запоминание» [17, с. 8-9]:

«1. функция памяти состоит „в избирательном закреплении индивидуального опыта и в дальнейшем его использовании... в конкретных условиях жизни субъекта, в его деятельности“ (с. 154).

2. Непроизвольное запоминание может быть как продуктом текущей деятельности, так и результатом отвлечений от нее, то есть случайным запоминанием. Однако именно первый „вид непроизвольного запоминания занимает в жизни человека основное место“ (с. 156).

3. Деление процессов памяти на непроизвольные и произвольные должно выступить в качестве основного, определяющего. Это деление должно выступить в качестве ведущего и в характеристике развития памяти. Непроизвольное и произвольное запоминание, воспроизведение являются двумя последовательными ступенями в развитии памяти детей“ (с. 449).

4. У дошкольников центральное место в закреплении ими индивидуального опыта занимает непроизвольная память (с. 29, 486).

5. С появлением произвольной памяти непроизвольная память не только не утрачивает своего значения, но и продолжает совершенствоваться (с. 455).

6. Непроизвольное запоминание как продукт деятельности „является также всегда опосредствованным, хотя и иначе, чем произвольное запоминание“, поскольку „всякая деятельность, в которой осуществляется непроизвольное запоминание, всегда связана и с наличием соответствующих ее целям и содержанию средств“ [с. 145].

7. Центральной и неотложной задачей школы является формирование у учащихся умений и навыков произвольного мышления, в том числе в задачах понимания текста».

Как мы видим, П. И. Зинченко конкретизировал положение об интеллектуализации памяти, о котором шла речь выше. Показательно, что важнейшей задачей школы, по мнению автора книги о памяти, является развитие произвольного мышления. Б. Г. Мещеряков следующим образом излагает это положение: «Вполне выверенной и конкретной является рекомендация различать и разделять познавательные и мнемические задачи. Причем эта необходимость распространяется как на учителя, так и на учащихся. Тот факт, что не только младшие, но часто и средние школьники мало пользуются активными приемами запоминания, а прибегают к простому повторению, объясняется во многом тем, что в процессе обучения недостаточно дифференцировались познавательные и мнемические задачи и не формировались необходимые умения по-разному их выполнять».

За этой рекомендацией стоят результаты многочисленных исследований П. И. Зинченко и А. А. Смирнова, в которых четко показано, что в определенных условиях мнемические и

познавательные (в узком смысле) задачи оказываются несовместимыми и неблагоприятно влияют друг на друга. Иначе говоря, установка на запоминание мешает пониманию нового (устного или письменного) материала, а установка на понимание и использование каких-то приемов логической работы с материалом (скажем, классификация или составление плана) может существенно понизить продуктивность запоминания, Такая несовместимость особенно характерна для учащихся младших классов.

Однако дело не только в том, чтобы полностью устранить интерференцию или не злоупотреблять совмещением задач понимания и запоминания. П. И. Зинченко предлагает гораздо более сильный вариант рекомендации: педагогам следует стимулировать развитие процессов понимания и специально ограничивать установку на запоминание. «Иначе говоря, прежде чем учить школьника применять, например, классификацию в качестве приема запоминания, необходимо научить его классифицировать в процессе выполнения познавательных, а не мнемических задач». Тем самым предлагается вообще уйти от прямолинейного пути на форсированное «развитие» произвольного запоминания, поскольку он оказывается благоприятным лишь для «механического» (т. е. примитивно опосредствованного) запоминания. В начальной школе было бы лучше отказаться от распространенной практики давать задания на выучивание текстов, включая и стихотворные. Развивать и оценивать следует не качество заучивания, а полноту и глубину понимания. Собственно, это и есть психологически оправданный путь формирования опосредствованного произвольного запоминания. Такова одна из причин, побудивших крупного специалиста по памяти утверждать, что «центральной и неотложной задачей школы является формирование у детей умений и навыков намеренного понимания, мышления, думания» [17, с. 27-28]. Этому совету последовали авторы теории развивающего обучения Д. Б. Эльконин и В. В. Давыдов, забыв при этом о памяти.

* * *

Многие теории обучения прошли мимо когнитивной психологии, которая появилась более 40 лет тому назад, практически одновременно с теорией развивающего обучения. Ее достижения имеют прямое отношение к обучению, а не только к компьютерной науке, общей и инженерной психологии. Остановимся лишь на рассмотренной выше проблеме соотношения консервативных и динамических свойств памяти. Когнитивная психология, не подзревая о давности ее постановки, нашла весьма интересный вариант решения. Ее представители создавали специальные экспериментальные процедуры, порой достаточно искусственные, для изолированного изучения тех или иных познавательных функций (над ними тоже витал образ Г. Эббингауза), но осуществлявшиеся в малых интервалах времени. Была обнаружена богатая номенклатура функции (функциональных блоков, уровней, компонентов и т. д.), выполняющих самые разные задачи: хранения, селекции, сканирования, оперирования или манипулирования входной информацией, перекодирования, семантической обработки, формирования программ требуемых действий, сопоставления текущей информации с уже накопленной и т. д. и т. п. Различные, правда, немногочисленные пока попытки композиции обнаруженных функциональных блоков в целостные познавательные структуры, например структуры информационного поиска, формирования образа, опознания, информационной подготовки решения или подготовки и реализации исполнительного действия, показали возможность чередования (со сдвигом по фазе) консервативных и динамических, репродуктивных и продуктивных блоков и функций.

Так что кантовская антиномия репродуктивности-продуктивности, воспроизведенная в дихотомии А. Бергсона, гипертрофия Кантом продуктивной стороны деятельности, равно как и гипертрофия древними (творчество есть припоминание) и Гегелем (превращение дела памяти в дело воображения есть деградация) репродуктивных функций, имеют право на существование.

Точнее других выразил соотношение репродуктивных и продуктивных свойств деятельности Спиноза, сказав, что память — это ищущий себя интеллект, и впервые поставив проблему интеллектуализации функций памяти.

Микроструктурный и микродинамический анализ когнитивных, а затем и исполнительных процессов столкнул нас с микрокосмосом познания и действия. Оказалось, что в секундном диапазоне времени можно обнаружить практически все психические функции, изучавшиеся экспериментальной психологией на протяжении почти ста лет, предшествовавших возникновению психологии когнитивной. Например, в исследованиях сенсорного регистра открылись интересные свойства зрительных ощущений, замерена их инерция; в исследованиях иконической памяти выявлены свойства чувственной ткани зрительного образа и вполне осязаемо и предметно показан механизм избирательности восприятия и внимания; в исследованиях блока сканирования определена предельная скорость (120 символов в секунду) селекции информации при задании поискового образа (поисковой установки). Найдено число одновременно эффективно работающих поисковых вербальных эталонов (около 100), но точно не определено число таких же образных эталонов. Оно измеряется многими тысячами. Большое впечатление произвели исследования, в которых обнаружена лежащая в основе визуального мышления манипулятивная способность зрительной системы, особенно манипуляции образами, осуществляющиеся за доли секунды. Такое же малое время требуется и для семантических преобразований входной информации, для перевода ее с одного языка на другой, например с языка символов на язык образов. Не умножая примеров, можно сказать, что результаты, полученные в контексте когнитивной психологии, вполне отвечают ожиданиям экспериментальной психологии и приоткрывают некоторые ее тайны. Подобную преемственность хорошо чувствовали «первооткрыватели» когнитивной психологии. Показательно, что первый из них — Дж. Сперлинг не дал своим исследованиям иконической памяти нового, достаточно претенциозного наименования. Оно принадлежит У. Найсеру. Разумеется, старая добрая экспериментальная психология познавательных процессов: ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения — была не менее, а, возможно, более когнитивной. Но спорить с устоявшимся названием бесполезно. Столь же претенциозна, например, гуманистическая психология.

Т. П. Зинченко, посвятившая многие годы изучению когнитивных процессов, продемонстрировала преемственность идей, теорий и ряда экспериментальных схем исследования с отечественными традициями изучения памяти [19]. На это же обращал внимание Б. Г. Мещеряков во вступительной статье ко второму изданию книги П. И. Зинченко «Непроизвольное запоминание» (1996). Таким образом, когнитивная психология уже вошла в тело психологии и никакое другое направление психологии или ее отрасль, в том числе детская и педагогическая психология, не могут не учитывать ее достижений.

Так же как над любой двигательной задачей витает ее смысл (Н. А. Бернштейн), он витает и над задачами перцептивными, опознавательными, мнемическими, умственными. А там, где есть смысл, есть и рефлексивная оценка условий задачи («потребного будущего») и собственных сил и возможностей ее решения. В исполнительных действиях такая рефлексия, названная фоновой, совершается с частотой 5—6 раз в секунду [7]. Видимо, нечто подобное имеется и в кратковременных когнитивных процессах, в которых также обнаружены учет прошлого и ориентация на будущее. Совершенно естественно, что исследования, проводимые в микроинтервалах времени, привели к обнаружению мельчайших, но тем не менее целостных, единиц активности: квант восприятия (Д. Бродбент), квант действия (Н. Д. Гордеева). В таких квантах представлены все три цвета времени: прошлое, настоящее и будущее. Кванты — это элементарные, естественно, виртуальные единицы вечности. Их наличие в поведении и деятельности есть необходимое условие возникновения идеи вечности. Как язвил Оскар Уайльд, эта идея помогает нам держаться за подол Бесконечности. Августин обозначал три времени — как настоящее прошедшего, настоящее настоящего и на-

стоящее будущего. Идея вечности может возникнуть благодаря таинственной работе памяти (только ли памяти?) по интегрированию прошлого, настоящего и будущего в дление, в котором каждое из времен трудно различимо и вычленимо:

*Как в прошедшем грядущее зреет,
Так в грядущем прошлое тлеет —
Страшный праздник мертвой листвы.*

А. Ахматова

Одна из самых больших загадок — собирание прошлого и будущего в настоящем. Откуда приходят прошлое и будущее в настоящее, откуда берется само настоящее? Есть ли у человека щупальцы, которые он может запускать в прошлое, настоящее и будущее? Возникновение сложного настоящего — длениа можно объяснить взаимодействием органов чувств. Взор ориентирован на будущее, слух и обоняние — на прошлое, осязание, тактильная и кинестетическая чувствительность, вкус дают знание настоящего. Таким образом, органы чувств — это еще и щупальцы времени. Конечно, остается вопрос, как и где интегрируются их данные о времени.

Как бы мы ни сетовали на прошедшее и будущее, самым страшным является настоящее, в котором нет примеси прошлого и будущего. Данте назвал подобное состояние «террором настоящего». На самом деле дление одновременно существует в прямой и обратной временной перспективе. А. А. Ухтомский дал наименование этому — «хронотоп», Л. С. Выготский назвал подобное «актуальным будущим полем».

В построении и регуляции исполнительных и познавательных, включая мнемические, действий есть и другие общие черты. Н. А. Бернштейн говорил, что упражнение — это повторение без повторения, так как каждое действие уникально, оно не повторяется, а строится и тем самым накапливает невероятный по своему объему, разнообразию и совершенству опыт созидания. По мере накопления созидательного опыта движение и действие щедро делятся им с образом, словом, мыслью, с восприятием, воображением и мышлением. Неповторимо не только живое движение, неповторимы и живой образ, и живое слово. «Всякое новое применение слова... есть созидание слова» [26, с. 223]. Поскольку артикуляция слова тоже есть движение, то не только новое применение слова, но и его повторение если и не созидание, то наверняка построение. Значит, даже вербальное заучивание тоже есть «повторение без повторения». Все это ставит не простые вопросы перед психологией памяти. Что есть след или энграмма? Что есть повторение, упражнение, заучивание? Наконец, что есть обучение? Видимо, мы должны говорить не о следах, а о схемах памяти, не о повторении, а о построении, не о воспроизведении, а о произведении, созидании, как минимум о вое-произведении. Другими словами, речь идет о живой памяти, которая, не только ориентирует в прошлом, но и направлена в будущее. Память не ограничивается запечатлением, она активна и действительно, может быть понята и изучена как ищущий себя (или ищущий себе) интеллект. Она находит и впитывает его, становится осмысленной в самом высоком значении этого слова. Нужно очень постараться и приложить немало усилий, чтобы превратить эту замечательную силу человеческой души в механическую работу. Психология в изучении механизмов живой памяти делает первые шаги. В этой области открывается широкий простор для будущих размышлений и исследований. А пока вернемся к более привычной логике.

Исследования, выполненные в когнитивной психологии, подтверждают заключение А. Г. Новохатько по поводу работ Гегеля и Спинозы, «...функции бессознательного — в сознании, репродукции — в творчестве у человека берет на себя память» [25, с. 148]. Можно добавить: преимущественно непроизвольная память. Но и сознательное — это целый мир, имеющий для человека самостоятельную ценность, независимую от тех утилитарных функ-

ций, которые выполняет память в общении, в игровой, учебной, трудовой и другой человеческой деятельности, будь они рутинными или творческими. В вопросе об интеллектуализации памяти Гегель, с одной стороны, близок к Спинозе, с другой стороны, принижает ее роль в творчестве, сохраняя ее продуктивные функции за «понятием». Напомним, что линия исследований визуального мышления, подчеркивание роли образов в творчестве восходят как раз к Канту. Согласно Гегелю, напротив, мы мыслим посредством имен. «Память имеет дело не с образом уже, а с продуктом самого интеллекта, «интеллигенции». Она ставит произвол силы воображения на место: «Упражнение памяти есть поэтому первый труд пробудившегося духа как духа. Давать, изобретать имена есть непосредственный изобретающий произвол. В памяти сначала исчезает этот произвол. Память, для Гегеля, есть точка прорыва орудийной деятельности человека. Память (в отличие от воображения) не связана с внешним предметом деятельности — она сохраняет имя Я как некоторую «вещь» Для Я в первичном акте **труда**. За это Гегель удостоился похвалы от Маркса» [25, с. 150—151]. Почему точка прорыва орудийной деятельности? Внешний предмет налицо. А орудие, «вещь», которая должна на него воздействовать, имеет имя. Оно в памяти. Гегель эту «вещь» даже персонифицировал, что, видимо, неслучайно. Первым «орудием», которым для удовлетворения своих потребностей пользуется живое существо, является другое живое существо. (Это справедливо для человека и, наверное, для всех позвоночных.)

Значит, опосредствование представляет собой не только условие и механизм развития психики, но и условие развития жизни. В его экспериментальное изучение внесли весомый вклад культурно-историческая психология и психологическая теория деятельности, возникшие и развивавшиеся в СССР. Мы с благодарностью должны вспомнить имена Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, А. В. Запорожца, П. И. Зинченко, А. Н. Леонтьева, М. И. Лисиной, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконина и др. И все же сам акт опосредствования все еще представляет собой вызов психологии, о чем пишут Б. Д. Эльконин, Б. Г. Мещеряков, Е. Н. Поливанова, В. Б. Хозиев и др. Так будет до тех пор, пока идея взаимного опосредствования психических функций не соединится с идеей их гетерогенности, артикулированной Ч. Шеррингтоном, С. Л. Рубинштейном.

При всей своей целостности исходно гетерогенна душа, включающая в свой состав познание, чувство и волю. Но этого же мало. Гетерогенны все психические акты, скрывающиеся за познанием, чувством и волей. Например, гетерогенны живое движение и предметное действие, содержащие помимо исполнения элементы чувствительности, памяти, предвидения, сравнительной оценки (фоновое уровня рефлексии) замысленного и содеянного [7]. Гетерогенны образ и слово, о чем говорилось выше. Собственно, иначе и не может быть. Понимание психических актов индивида как функциональных органов — сочетание сил (А. А. Ухтомский) — соответствует (соприродно) пониманию Платоном души как соединенной силы окрыленной пары коней и возницы. И в том, и в другом случае речь идет об энергичной проекции души, психики и даже человека в целом (последнее — постоянный сюжет С. С. Хоружего, 2001). Психические акты благодаря гетерогенности обладают порождающими свойствами. Дифференцируясь и автономизируясь от породившего их источника, они сохраняют в себе его следы и свойства, что позволяет им взаимодействовать и взаимопосредствовать друг друга.

Гетерогенность — необходимое условие, так сказать, узнавания психическими функциями друг друга, а затем и органического, а не искусственного, механического взаимодействия, взаимопроницаемости, взаимопроникновения и взаимообогащения ими друг друга. Можно надеяться, что последовательное проведение идей опосредствования и гетерогенности приблизит психологию к целостному пониманию психики.

У человеческой памяти имеется еще одна важнейшая функция, на которую мы лишь укажем. Это сохранение Я в собственном смысле слова. Сегодня об этой функции говорят как о сохранении идентификации и, конечно, не только в процессах орудийной деятельно-

сти или труда. Эта функция памяти даже шире, чем то, что принято называть автобиографической памятью. Это, скорее, память на события, поступки, чувства, мысли о смысле, конституирующие личность. В нашей литературе перебирались различные варианты психологических образований, которые могли бы составить «ядро» личности: иерархия мотивов (А. Н. Леонтьев), эмоции (А. В. Запорожец), чувство вины и ответственности (М. М. Бахтин), творчество (В. В. Давыдов), смысловые образования (А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, Б. В. Зейгарник) и т. д. Кандидатом на эту роль вполне может выступать и память, поскольку личность — это человек исторический, осознающий свое место в истории, в культуре, в стране, в нации, наконец, в роду и племени и не забывающий о нем. Для того чтобы нечто «натворить» или как-то прожить, не обязательно быть личностью. Впрочем, личность сама есть ядро всего перечисленного и еще многого сверх этого. Как сказал Сальвадор Дали, личность — это избыток индивидуальности. И душевная сила памяти — не последнее ее свойство.

* * *

Настоящий текст начинался с перечня сил души, в число которых входит память. Логично закончить его некоторыми соображениями по поводу этой живой силы. Память души отличается от памяти, изучавшейся в психологических лабораториях. Примем идею А. А. Ухтомского, что память, как и другие психические функции, есть функциональный орган индивида, орган-новообразование. Вспомним также идею И. Г. Фихте о том, что человек создает органы, «душой и сознанием намеченные». Такие приобретения оказываются неколебимее, чем недвижимость (И. Бродский). Следствия, вытекающие из этих идей, очевидны. Функциональные органы, представляющие собой силы души, ею же и намечены к созданию. Они, видимо, отличаются от функциональных органов, «намеченных» к созданию сознанием. Л. С. Выготский достаточно категорично говорил, что высшие психические функции источником своего происхождения имеют сознание (это его положение игнорировалось в психологической теории деятельности). Впрочем, это не означает, что функциональные органы, «намеченные» к созданию душой, являются низшими. И те и другие функциональные органы, конечно, отличаются как друг от друга, так и от функциональных органов — новообразований, «намеченных» к созданию психологом-экспериментатором в психологической лаборатории или экстрагированных с большей или меньшей точностью из обыденной жизни, из какого-либо вида деятельности. Лабораторные аналоги функциональных органов, будь то способность к цветоощущению кожей ладони (А. Н. Леонтьев), или способность к произвольному расширению (сужению) кровеносных сосудов (А. В. Запорожец, М. И. Лисина), или обнаруженные (сформированные?) когнитивной психологией способности к хранению неправдоподобно больших объемов информации в сенсорном регистре и иконической памяти и т. п., представляют собой искусственные конструкции, нечто вроде временных лабораторных протезов. При всей своей эвристической, возможно, диагностической (?) и научной полезности, будучи вырваны из жизненного контекста, они производят впечатление абсурдности. Впрочем, целью любого эксперимента является создание таких условий, которых в жизни не бывает. Иначе это не эксперимент. Справедливости ради нужно заметить, что функциональные органы, намеченные к созданию сознанием, например для того чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, производят впечатление еще более абсурдных.

Сказанное дает основания с известной мерой условности отличать память души от памяти психики и сознания. Условность различения подчеркивается еще и тем, что, согласно А. А. Ухтомскому, функциональный орган имеет энергичную природу, так как он представляет собой временное сочетание сил, способное осуществить определенное достижение. Еще раз подчеркнем, что функциональные органы соприродны душевным силам. После этих пояснений обратимся к памяти души.

Память души отличается как от сознательной, так и от исторической памяти. Первая не столько хронологична, сколько структурна, синхронистична. Важным ее источником является традиция, которая усваивается непроизвольно, помимо воли и желания индивида, усваивается с молоком матери, с родным языком, обычаями и пр. Разумеется, ее обогащает и то, что принято называть озарением, откровением. Память души не вечна, но она меняется, подвергается реконструкциям и разрушениям существенно медленнее, чем историческая память. Л. Скаккабароцци приводит определение традиции, данное К. Родольфо: «Это то, что, может, никогда и не происходило, но могло бы быть и может еще случиться в будущем», и следующим образом комментирует его: «История и традиция при том, что эти два понятия могут показаться синонимами и иметь общий предмет интереса (т. е. прошлое), — при более глубоком изучении обнаруживают абсолютно противоположный смысл. Традиция, в отличие от истории, указывает на будущее, о чем свидетельствует и латинская этимология (*traditio* от *tradere* — передавать). А что можно передать, если прошлое разрушено?» [29, с. 213]. И действительно, история нередко деформирует не только свое собственное прошлое, но и традицию, деформирует и душу. А душа, вслушиваясь в шум времени, часто из последних сил, сопротивляется истории, претерпевает и преодолевает ее. И все же истории ни прошлой, ни, вероятно, будущей не удастся разрушить душу или исковеркать ее окончательно, хотя она порой прилагает к этому огромные усилия, пытаясь создать, например, «нового человека без души и имущества в предбаннике истории, готового на все, только не на прошлое» (А. Платонов). Именно в этом смысле душа есть чудо. В каждом новом поколении людей душа возрождается, так как в каждом из них всегда находятся «хранители очага», испытывающие любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Благодаря таким людям, обладающим скромной и неодолимой душой, а вовсе не школьной истории, не прерывается связь времен.

Память души, конечно, тоже избирательна. Она не столько знает больше, чем сознание, сколько знает иное и иначе. Это связано с тем, что язык души ближе к языку искусства, чем к языку учебника, языку повседневной жизни или языку средств массовой информации. Знание, которым обладает душа, трудно выразить. По мысли Ф. М. Достоевского, оно неотвечиво. Прислушаемся к И. С. Тургеневу, описавшему переживания Акима, хозяина постоянного двора: «Чего он не передумал в жестокую ночь! Трудно передать словами все, что происходит в человеке в подобные мгновения, все терзанья, которые он испытывает; оно тем более трудно, что эти терзанья и в самом-то человеке бессловесны и немы» («Постоялый двор»). Но дело это не совсем безнадежное. А. Ремизов, комментируя слова Тургенева, пишет: «Услышать и рассказать об этом бессловесному Тургеневу не дано было: в этом дар Достоевского и Толстого» [28, с. 192]. Память души характеризует не столько объем, сколько глубина переживаний. Душа очеловечивает жизнь, превращая проживание в переживание. В этом смысле даже полная вербальная неартикулируемость памяти души не означает ее недейственности. Действие — такой же полноправный язык души, как образ и чувство.

Приведенные размышления об истории и традиции, о памяти души имеют самое непосредственное отношение к психологии. Психика и сознание, может быть, не всегда культурны, но наверняка историчны. Душа более устойчива, и ее память менее подвержена историческим влияниям, благодаря чему эстафета человечности передается через самые глухие и мрачные исторические эпохи. В отличие от памяти души, история, как известно, учит только тому, что она ничему не учит. К тому же история слишком часто лжива, ибо история — это история выживших (Эм. Левинас). А иногда — выживших из ума. Ироничный М. Я. Гефтер приравнял постулат лживости после-христианской истории к общей теории относительности. История, при всей своей лживости, кокетничает тем, что она не знает слагательного наклонения. Традиция не стесняется говорить, а душа — сожалеть о том, каким могло бы быть будущее, если бы ею не пренебрегли.

Сказанное не означает, что душа принадлежит к натуральным феноменам в смысле феноменов натуральной психики в культурно-исторической психологии в варианте Л. С. Выготского. Душа — порождение духовной культуры. М. М. Бахтин, несомненно, был прав, говоря о том, что душа — это дар моего духа другому человеку. Именно в этом смысле душа не может погибнуть: она переходит к другому. Конечно, при условии, что этот дар будет принят в себя другим, а если последний к тому же обладает благодарной памятью, душа сохраняет авторство дарителя. Душа — это удивительный дар, который от дарения не скудеет, прирастает: чем больше даришь, тем больше тебе остается.

Душа, в отличие от психики и сознания, всечеловечна, внеисторична, если угодно, архетипична. В ее эмоциональной памяти хранятся общечеловеческие, внеисторические ценности и смыслы. Другими словами, душа причастна к абсолютному, к истине, и при этом умудряется быть на границе прошлого и будущего, быть вне времени и сохранять чувство времени, без которого она не может жить. Душа не столько растет и развивается, сколько раскрывается, углубляется, просветляется, для чего могут иметься не только более или менее благоприятные условия, но и должны быть соответствующие усилия со стороны ее обладателя. Важнейшим посредником между душой и абсолютным является искусство, не только понимающее, но и создающее язык души. Искусство вполне ответчиво, хотя каждый из его видов и жанров своеязычен. Бурный сократовский анамнезис (припоминание) есть возвращение не к истории, а к истокам, благодаря чему, например, поэты провидят будущее.

Несколько слов в заключение. Живая память ближе к памяти души, чем к памяти психики. Последняя по мере развертывания психологических исследований постепенно одушевляется. Читателю можно порекомендовать полезный, основанный на самонаблюдении прием определения степени живости памяти, выступающей предметом и итогом исследований в психологии. Если в размышлениях о памяти или в описаниях ее экспериментальных исследований можно узнать себя и свою собственную память, то это означает, что их авторы приближаются к пониманию живой памяти, а порой и к памяти души.

Литература

1. Августин А. Исповедь. М., 1991.
2. Валлон А. От действия к мысли. М., 1956.
3. Василюк Ф. Е. Психология переживания. М., 1984.
4. Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1982-1984.
5. Гегель Г. В. Ф. Сочинения: В 14 т. М.; Л., 1929-1959.
6. Гегель Г. В. Ф. Наука логики: В 3 т. М., 1970-1971.
7. Гордеева Н. Д., Зинченко В. П. Роль Рефлексии в построении предметного Действия // Человек. 2001. № 6.
8. Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. М., 2000.
9. Давыдов В. В. Достижения Э. В. Ильенкова в материалистической диалектике и теоретической психологии // Э. В. Ильенков: личность и творчество. М., 1999.
10. Зинченко В. П. Мысль и слово Густава Шпета. М., 2000.
11. Зинченко В. П. Гипотеза о происхождении учения А. А. Ухтомского о доминанте // Человек. 2000. № 3.
12. Зинченко В. П. Вклад А. А. Ухтомского в психологию // Вопросы психологии. 2000. № 4.

13. Зинченко В. П. Предмет психологии: подъем по духовной вертикали // Человек. 2001. № 5.
14. Зинченко В. П. Время — действующее лицо // Вопросы психологии. 2001. № 6.
15. Зинченко В. П. Возможны ли целостные представления о мышлении? // Психологическая наука и образование. 2001. № 2.
16. Зинченко В. П. Размышления о душе и ее воспитании // Вопросы философии. 2002. № 2.
17. Зинченко П. И. Непроизвольное запоминание. М., 1961; М.; Воронеж, 1996.
18. Зинченко Т. П. Когнитивная и прикладная психология. М.; Воронеж, 2000.
19. Зинченко Т. П. Память в экспериментальной и когнитивной психологии. СПб., 2001.
20. Коул М. Культурно-историческая психология: наука будущего. М., 1997.
21. Лурия А. Р. Современная психология в ее основных направлениях. М., 1928.
22. Лурия А. Р. Этапы пройденного пути. М., 1982.
23. Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1990.
24. Михайлов Ф. Т. Фантазия — главная сила души человека // Э. В. Ильенков: личность и творчество. М., 1999.
25. Новохатько А. Г. Историзм самосознания как проблема творчества // Э. В. Ильенков: личность и творчество. М., 1999.
26. Потенция А. А. Собрание трудов. Мысль и язык. М., 1999.
27. Пятигорский А. М. Лекции по буддийской философии // Ахутин А. В., Бибихин В. В., Пятигорский А. М. Философия на троих. Рига, 2000.
28. Ремизов А. Сны и предсонье. М., 2000.
29. Скаккабароцци Л. О Михаиле Гефтере, или Об агонии историзма // Век XX и Мир. 1996. № 2.
30. Смирнов А. А. Проблемы психологии памяти. М., 1966.
31. Солсо Р. Когнитивная психология. М., 1996.
32. Хозиев В. Б. Опосредствование в становящейся деятельности. Сургут, 2000.
33. Bruner J. S. *Autobiography*. Lindzey (Ed.). *A History of Psychology in Autobiography*. Vol. 7. San Francisco, 1980. P. 75-151.